

БОЛЬШИЕ
NF
КНИГИ

Фридрих
Ницше

ТАК ГОВОРИЛ
ЗАРАТУСТРА



Санкт-Петербург

**ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ,
СЛИШКОМ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ**
Книга для свободных умов



ПРЕДИСЛОВИЕ

1

Довольно часто и всегда с большим удивлением мне говорили, что есть что-то общее и отличительное во всех моих произведениях. Начиная с «Рождения трагедии» вплоть до недавно опубликованного «Пролога к философии будущего» все они содержат — говорили мне — западни и сети для неосторожных птиц и едва ли не постоянный незаметный призыв к перевороту всех привычных оценок и привычек. Как? *Все* это только — человеческое, слишком человеческое? К этому вздоху приводит чтение моих произведений; читатель испытывает некоторого рода испуг и недоверие даже к морали, более того, его немало искушает и поощряет к защите отнюдь не лучших вещей мысль: а что, если это — только очень ловко оклеветанные вещи? Мои произведения называли школой подозрения, даже — школой презрения, к счастью, еще и школой мужества, а также дерзости. И действительно, я и сам не допускаю мысли, чтобы кто-то когда-либо глядел на мир с таким глубоким подозрением, как я, и не только в качестве случайного адвоката дьявола, но и — выражаясь богословски — в качестве врага и допросчика Бога; и кто угадывает хоть что-нибудь из последствий всякого глубокого подозрения — из озноба и тревог одиночества, на которые осуждает всякая безусловная *отличность взора*, — тот поймет также, как часто, чтобы отдохнуть от себя и как бы временно забыть себя, я тщился приютиться где-либо — в какой-либо почтительности, или вражде, или научности, или шаловливости, или глупости, а также почему, когда я не находил того, что мне было *нужно*, мне приходилось искусственно овладевать им, подделывать и сочинять себе это (и разве поэты делали когда-либо что-нибудь другое? и для чего же и существует все искусство на свете?). Но что мне было всегда нужнее всего для моего лечения и самовосстановления, так это вера, что я не одинок в этом смысле, что мой *взор* не одинок, — волшебное чаяние

родства и равенства во взоре и вожделении, желание доверчивого покоя дружбы, слепоты вдвоем, без подозрений и знаков вопроса, наслаждение внешностью, поверхностью, близким и ближайшим — всем, что имеет цвет, кожу и видимость. Может быть, в этом отношении меня можно уличить в кое-каком «искусстве» и признать тонким фальшивомонетчиком; уличить, например, в том, что я намеренно-умышленно закрывал глаза на шопенгауэровскую слепую волю к морали в ту пору, когда я уже хорошо разобрался в делах морали, а также что я обманывал себя насчет неизлечимого романтизма Рихарда Вагнера, как если бы он был началом, а не концом; а также насчет греков, а также насчет немцев и их будущности — и, может быть, наберется еще целый список этих «также»? Но допустим, что все это так, что во всем этом можно с полным основанием уличить меня; что же *вы* знаете, что *можете* вы знать о том, сколько хитрости самосохранения, сколько разумности и высшей предосторожности содержится в таком самообмане — и сколько лживости мне еще *нужно*, чтобы я мог каждый раз снова позволять себе роскошь *моей* правдивости? Довольно, я еще живу; а жизнь уж так устроена, что она основана не на морали; она *ищет* заблуждения, она *живет* заблуждением... но не правда ли? — я опять уже принялся за свое, начал делать то, что делаю всегда, — я, старый immoralist и птицелов, — говорить безнравственно, вненравственно, «по ту сторону добра и зла»?

2

Так, однажды, когда мне это было нужно, я *изобрел* для себя и «свободные умы», которым посвящена эта меланхолично-смелая книга под названием «Человеческое, слишком человеческое»; таких «свободных умов» нет и не было — но, повторяю, общение с ними было мне нужно тогда, чтобы сохранить хорошее настроение среди худого устройства (болезни, одиночества, чужбины, *acedia*¹, бездеятельности); они были мне нужны, как brave товарищи и призраки, с которыми болтаешь и смеешься, когда есть охота болтать и смеяться, и которых посылаешь к черту, когда они становятся скучными, — как возмещение недостающих друзей. Что такие свободные умы *могли бы* существовать, что наша Европа *будет* иметь среди своих сыновей завтрашнего и послезавтрашнего дня таких веселых и дерз-

¹ Уныния, угрюмости (лат.). — Здесь и далее примеч. ред.

ких ребят во плоти и осязательно, а не, как в моем случае, в качестве схем и отшельнической игры в тени — в этом я менее всего хотел бы сомневаться. Я уже вижу, как они *идут*, медленно-медленно; и, может быть, я содействую ускорению их прихода, описывая наперед, в чем я *вижу* условия и пути их прихода?

3

Можно предположить, что душа, в которой некогда должен совершенно созреть и налиться сладостью тип «свободного ума», испытала, как решающее событие своей жизни, великий разрыв и что до этого она была тем более ограниченной душой и казалась навсегда прикованной к своему углу и столбу. Что связывает и ограничивает крепче всего? Какие пути практически неразрывны? У людей высокой и избранной породы то будут обязанности — благоговение, которое присуще юности, робость и нежность ко всему издревле почитаемому и достойному, благодарность почве, из которой они выросли, руке, которая вела, святилищу, в котором они научились поклоняться; их высшие мгновения будут сами крепче всего ограничивать и дольше всего обязывать их. Великий разрыв приходит для таких ограниченных людей внезапно, как подземный толчок: юная душа сразу сотрясается, отрывается, вырывается — она сама не понимает, что с ней происходит. Ее влечет и гонит что-то, точно приказание; в ней просыпается желание и стремление уйти, все равно куда, во что бы то ни стало, горячее опасное любопытство по неоткрытому миру пламенеет и пылает во всех ее чувствах. «Лучше умереть, чем жить *здесь*» — так звучит повелительный голос и соблазн; и это «здесь», это «дома» есть все, что она любила доселе! Внезапный ужас и подозрение в отношении того, что она любила, молния презрения к тому, что звалось ее «обязанностью», бунтующий, произвольный, вулканически пробивающийся порыв к странствию, чужбине, отчуждению, охлаждению, отрезвлению, оледенению, ненависть к любви, быть может, святотатственный выпад и взгляд *назад*, туда, где она доселе поклонялась и любила, быть может, пыл стыда перед тем, что она только что делала, и вместе с тем восторженная радость, что *она* это делала, упоенное внутреннее радостное содрогание, в котором сказывается победа — победа? над чем? над кем? — загадочная, чреватая вопросами и возбуждающая вопросы победа, но все же *первая* победа, — такие опасности и боли принадлежат к истории великого разрыва. Это есть вместе

с тем болезнь, которая может разрушить человека, — этот первый взрыв силы и воли к самоопределению, самоустановлению ценностей, эта воля к *свободной* воле; и какая печать болезненности лежит на диких попытках и странностях, посредством которых освобожденный стремится теперь доказать себе свою власть над вещами! Он блуждает, полный жестокости и неудовлетворенных вожделений; все, чем он овладевает, должно нести возмездие за опасное напряжение его гордости; он порывает со всем, что возбуждает его. Со злобным смехом он опрокидывает все, что находит скрытым, защищенным какой-либо стыдливостью, он хочет испытать, каковы все эти вещи, *если* их опрокинуть. Из произвола и любви к произволу он, быть может, дарует теперь свою благосклонность тому, что прежде числилось на плохом счету, — и с любопытством и желанием испытывать проникает к самому запретному. В глубине его блужданий и исканий — ибо он бредет беспокойно и бесцельно, как в пустыне, — стоит знак вопроса, ставимый все более опасным любопытством. «Нельзя ли перевернуть *все* ценности? И, может быть, добро есть зло? А Бог — выдумка и ухищрение дьявола? И, может быть, в последней своей основе все ложно? И если мы обмануты, то не мы ли, в силу того же самого, и обманщики? И не *должны* ли мы быть обманщиками?» — такие мысли отвращают и совращают его все больше и больше. Одиночество окружает и оцепляет его, становится все грознее, удушливей, томительней, эта ужасная богиня и *mater saeva cupidinum*¹, — но кто еще знает нынче, что такое *одиночество*?..

4

От этой болезненной уединенности, из пустыни таких годов испытания еще далек путь до той огромной, бьющей через край уверенности, до того здоровья, которое не может обойтись даже без болезни как средства и уловляющего крючка для познания, — до той зрелой свободы духа, которая в одинаковой мере есть и самообладание, и дисциплина сердца и открывает пути ко многим и разнородным мировоззрениям, — до той внутренней раскованности и избалованности чрезмерным богатством, которая исключает опасность, что душа может потерять самое себя на своих собственных путях или влюбиться в них и в опьянении останется сидеть в каком-нибудь уголке, — до того избытка пластических, исцеляющих, восста-

¹ Свирепая мать страстей (*лат.*).

навливающих и воспроизводящих сил, который именно и есть показатель *великого* здоровья, — до того избытка, который дает свободному уму опасную привилегию жить *риском* и иметь возможность отдаваться авантюрам — привилегию истинного мастерства, признак свободного ума! Посередине, быть может, лежат долгие годы выздоровления, годы, полные многоцветных, болезненно-волшебных изменений, руководимые упорной *волей к здоровью*, которая часто отваживается рядиться и играть роль настоящего здоровья. Среди этого развития встречается промежуточное состояние, о котором человек, испытавший такую судьбу, позднее не может вспомнить без трогательного чувства: счастье окружает его, подобно бледному, тонкому солнечному свету, он обладает свободой птицы, горизонтом и дерзновением птицы, чем-то третьим, в чем любопытство смешано с нежным презрением. «Свободный ум» — эти холодные слова дают радость в таком состоянии, они почти греют. Живешь уже вне оков любви и ненависти, вне «да» и «нет», добровольно близким и добровольно далеким, охотнее всего ускользая, убегая, отлетая, улетающая снова прочь, снова вверх; чувствуешь себя избалованным, подобно всякому, кто видел *под* собой огромное множество вещей, — и становишься антиподом тех, кто заботится о вещах, которые его не касаются. И действительно, свободного ума касаются теперь вещи, — и как много вещей! — которые его уже *не заботят*...

5

Еще шаг далее в выздоровлении — и свободный ум снова приближается к жизни, правда медленно, почти против воли, почти с недоверием. Вокруг него снова становится теплее, как бы желтее; чувство и сочувствие получают глубину, теплые ветры всякого рода обвевают его. Он чувствует себя так, как будто теперь у него впервые открылись глаза для *близкого*. В изумлении он останавливается: где же он *был* доселе? Эти близкие и ближайšie вещи — какими преобразенными кажутся они ему теперь! Какую пушистость, какой волшебный вид они приобрели с тех пор! Благодарный, он оглядывается назад, — благодарный своим странствиям, своей твердостью и самоотчуждению, своей дальнорукости и своим птичьим полетам в холодные высоты. Как хорошо, что он не оставался, подобно изнеженному темному празднующему, всегда «дома», «у себя»! Он был *вне* себя — в этом нет сомнения. Теперь лишь видит он самого себя — и какие неожиданности он тут встречает! Какие неизведан-

ные содрогания! Какое счастье даже в усталости, в старой болезни и ее возвратных припадках у выздоравливающего! Как приятно ему спокойно страдать, пряхть нить терпения, лежать на солнце! Кто умеет, подобно ему, находить счастье зимой, наслаждаться солнечными пятнами на стене! Эти наполовину возвращенные к жизни выздоравливающие, эти ящерицы — самые благодарные животные в мире: некоторые из них не пропускают ни одного дня без маленькой хвалебной песни. Серьезно говоря, самое основательное *лечение* всякого пессимизма (как известно, неизлечимого недуга старых идеалистов и лгунов) — это заболеть на манер таких свободных умов, долго оставаться больным и затем еще медленнее возвращаться к здоровью, я хочу сказать — становится «здоровее». Мудрость, глубокая жизненная мудрость содержится в том, чтобы долгое время прописывать себе даже само здоровье в небольших дозах.

6

И в эту пору, среди внезапных проблесков еще необузданного, еще изменчивого здоровья, свободному, все более освобождающемуся уму начинает наконец уясняться та загадка великого разрыва, которая доселе в темном, таинственном и почти неприкосновенном виде лежала в его памяти. Если он долго почти не решался спрашивать: «Отчего я так удалился от всех? Отчего я так одинок? Отчего я отрекся от всего, что почитаю, — отрекся даже от самого почитания? Откуда эта жестокость, эта подозрительность, эта ненависть к собственным добродетелям?» — то теперь он осмеливается громко спрашивать об этом и уже слышит нечто подобное ответу: «Ты должен был стать господином над собой, господином и над собственными добродетелями. Прежде *они* были твоими господами; но они могут быть только твоими орудиями наряду с другими орудиями. Ты должен был приобрести власть над своими „за“ и „против“ и научиться выдвигать и снова прятать их, смотря по твоей высшей цели. Ты должен был научиться понимать начало перспективы во всякой оценке — отклонение, искажение и кажущуюся телеологию горизонтов и все, что относится к перспективе, и даже частицу глубины в отношении к противоположным ценностям, и весь интеллектуальный ущерб, которым приходится расплачиваться за каждое „за“ и каждое „против“. Ты должен был научиться понимать *необходимую* несправедливость в каждом „за“ и „против“, несправедливость, неотрешимую от жизни, *обусловленность* самой жизни нача-

лом перспективы и его несправедливостью. Ты должен был прежде всего воочию видеть, где несправедливости больше всего: именно там, где жизнь развита меньше, мельче, беднее всего, где она всего более первобытна и все же вынуждена считать себя целью и мерой вещей и в угоду своему сохранению исподтишка, мелочно и неустанно подрывать и расшатывать все высшее, более великое и богатое, — ты должен был воочию увидеть проблему *иерархии* и как сила, и право, и широта перспективы одновременно растут вверх. Ты должен был...» — довольно, свободный ум *знает* отныне, какому «ты должен» он повиновался, и знает также, на что он теперь способен и что ему теперь — *позволено*...

7

Такого рода ответ дает себе свободный ум в отношении загадки разрыва и кончает тем, что, обобщая свой случай, он объясняет себе пережитое. «Что случилось со мной, — говорит он себе, — то должно случиться со всяким, в ком воплощается и „хочет явиться на свет“ *задача*». Тайная сила и необходимость этой задачи будет властвовать над его судьбой и ее частными событиями, подобно неосознанной беременности, — задолго до того, как он уяснит самое эту задачу и узнает ее имя. Наше назначение распоряжается нами, даже когда мы еще не знаем его; будущее управляет нашим сегодняшним днем. Допустив, что именно *проблему иерархии* мы, свободные умы, можем назвать *нашей* проблемой, лишь теперь, в полдень нашей жизни, мы понимаем, в каких приготовлениях, обходных путях, испытаниях, искушениях, переодеваниях нуждалась эта проблема, прежде чем она *могла* встать перед нами, и что мы сначала должны были испытать душой и телом самые разнообразные и противоречивые бедствия и радости в качестве искателей приключений и путешественников в том внутреннем мире, который зовется «человеком», в качестве измерителей каждого «выше», каждого «сверх иного», которое тоже зовется «человеком», — проникая повсюду почти без страха, не пренебрегая ничем, не теряя ничего, пробуя все, очищая и как бы отсеивая все случайное, — пока мы, свободные умы, не сможем наконец сказать: «Здесь лежит *новая* проблема! Здесь длинная лестница, на ступенях которой мы сами сидели и по которой мы поднимались, — какими мы некогда сами *были*. Здесь есть высота и глубина, есть мир под нами, есть огромный длинный порядок и иерархия, которую мы *видим*; здесь — *наша* проблема!

Ни одному психологу и толкователю знаков ни на мгновение не останется непонятым, к какому месту только что описанного развития принадлежит (или *отнесена*) предлагаемая книга. Но где остались еще психологи? Наверное, во Франции, быть может, в России; но, во всяком случае, не в Германии. Нет недостатка в основаниях, по которым современные немцы могли бы даже хвастаться этим — довольно скверно для человека, который в этом отношении по природе и воспитанию не похож на немца! Эта *немецкая* книга, которая сумела найти себе читателей в широком круге стран и народов — она странствует уже около десяти лет — и которая, очевидно, не лишена какой-то музыки и звуков флейты, с помощью коих можно склонить к вниманию даже тугие уши иностранцев, — эта книга именно в Германии читалась небрежнее всего, и ее хуже всего *слушали*; чем это объясняется? «Она требует слишком многого, — отвечали мне, — она обращается к людям, не угнетенным грубыми обязанностями, она ищет тонких и избалованных ощущений, она нуждается в избытке времени, в избытке светлого неба и сердца, в избытке *otium*¹ в самом дерзком смысле; но всех этих хороших вещей мы, нынешние немцы, не имеем, а следовательно, не можем и давать». После столь милого ответа моя философия советует мне умолкнуть и не спрашивать далее; тем более что в некоторых случаях, как на то намекает поговорка, можно *остаться* философом только благодаря тому что — молчишь.

Ницца,
весна 1886 г.

¹ Досуга (*лат.*).

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ: О ПЕРВЫХ И ПОСЛЕДНИХ ВЕЩАХ

1

Химия понятий и чувств. Философские проблемы принимают теперь опять почти во всех областях ту же форму, какую они имели две тысячи лет назад: как может что-либо возникнуть из своей противоположности, например разумное из неразумного, ощущающее из мертвого, логика из нелогичного, бескорыстное созерцание из вожделеющего хотения, жизнь для других из эгоизма, истина из заблуждений? Метафизическая философия одолевала доселе эту трудность тем, что отрицала возникновение одного из другого и в отношении более высоко ценимых вещей принимала чудесное происхождение непосредственно из ядра и существа «вещи в себе». Напротив, историческая философия, которую вообще нельзя уже мыслить отдельно от естествознания и которая есть самый новый из всех философских методов, установила в отдельных случаях (и, вероятно, к такому результату она придет во всех случаях), что это вообще не противоположности — разве только в обычном преувеличении популярного или метафизического понимания — и что в основе этого противопоставления лежит заблуждение; согласно ее объяснению, не существует, строго говоря, ни неэгоистического поведения, ни совершенно бескорыстного созерцания: то и другое суть лишь утончения, в которых основной элемент кажется почти испарившимся, так что лишь самое тонкое наблюдение может обнаружить его присутствие. В чем мы нуждаемся и что лишь при современном уровне отдельных наук может быть нам дано — есть *химия* моральных, религиозных, эстетических представлений и чувств, равно как всех душевных движений, которые мы испытываем в крупных и мелких отношениях культурной и общественной жизни и даже в одиночестве; а что, если эта химия закончилась бы выводом, что и в этой области самые роскошные краски добыты из низменного, презираемого материала? Многие ли будут иметь охоту подчиниться таким исследованиям? Человечество любит заглушать в своем

сознании вопросы о происхождении и началах; и не нужно ли почти лишиться человеческого облика, чтобы почувствовать в себе противоположное влечение?

2

Наследственный недостаток философов. Все философы обладают тем общим недостатком, что они исходят из современного человека и мнят прийти к цели через анализ последнего. Непроизвольно им преподносится «человек» вообще, как некая *aeterna veritas*¹, как неизменное во всеобщем потоке, как надежное мерило вещей. Однако все, что философ высказывает о человеке, есть, в сущности, не что иное, как свидетельство о человеке *весьма ограниченного* промежутка времени. Отсутствие исторического чувства есть наследственный недостаток всех философов; многие из них принимают даже самоновейшую форму человека, возникшую под влиянием определенных религий, иногда просто под влиянием определенных политических событий, за прочную форму, из которой следует исходить. Они не хотят усвоить того, что человек есть продукт развития, что и его познавательная способность есть продукт развития, тогда как некоторые из них хотят даже вывести весь мир из этой познавательной способности. Но все *существенное* в человеческом развитии произошло в первобытные времена, задолго до тех 4000 лет, которые мы приблизительно знаем; в этот последний промежуток человек вряд ли сильно изменился. Философ же видит «инстинкты» в современном человеке и признает, что они принадлежат к неизменным фактам человеческой жизни и в этом смысле образуют даже ключ к пониманию мира вообще: вся телеология построена на том, что о человеке последних четырех тысячелетий говорят как о *вечном* человеке, к которому все вещи в мире изначально имеют естественное отношение. Однако все когда-то возникло, не существует *вечных фактов*, как не существует абсолютных истин. Следовательно, отныне необходимо *историческое философствование*, а вместе с ним и добродетель скромности.

3

Оценка незаметных истин. Признаком высшей культуры является более высокая оценка найденных строгими методами маленьких, незаметных истин, чем благодетельных и ослепительных за-

¹ Вечная истина (*лат.*).

блуждений, обязанных своим происхождением метафизическим и художественным эпохам и людям. Первые встречаются насмешкой, как будто не может быть и речи об их равноценности последним: ведь по сравнению с блеском, красотой, упоительностью и, быть может, благодетельностью последних они кажутся такими скромными, простыми, трезвыми и даже наводящими уныние. Однако добытое упорным трудом, достоверное, длительное и потому полезное для всякого дальнейшего познания есть все же выше; держаться его означает действовать мужественно и свидетельствует о смелости, неприязнательности и воздержанности. Постепенно не только отдельная личность, но и все человечество возвысится до этой мужественности, когда оно наконец приучится больше ценить прочные, длительные познания и потеряет веру во вдохновение и чудесное приобретение истин. Правда, почитатели *форм* с их мерилом прекрасного и возвышенного будут сначала иметь основания насмехаться, когда начнет преобладать научный дух и оценка незаметных истин, но лишь потому, что их взору еще не открылась прелесть *простейшей* формы, или же потому, что воспитанные в этом духе люди еще долго не проникнутся им всецело и внутренне, так что они все еще будут бессмысленно подражать старым формам (и притом довольно плохо, как всегда, когда не придают большого значения тому, что делают). Некогда дух не был занят строгим мышлением, и тогда он со всей серьезностью посвящал себя выдумыванию символов и форм. Теперь все изменилось; такое серьезное отношение к символическому стало признаком низкой культуры. Подобно тому как сами наши искусства становятся все более интеллектуальными и наши чувства — все более духовными, как, например, мы теперь совсем иначе судим о чувственном благозвучии, чем сто лет тому назад, так и формы нашей жизни становятся все более *духовными*, для взора прежних эпох, быть может, более *безобразными*, но лишь потому, что он не способен видеть, как постепенно углубляется и расширяется царство внутренней, духовной красоты и как для нас всех теперь одухотворенный взор может иметь большее значение, чем прекраснейшее строение тела и самое возвышенное архитектурное произведение.

4

Астрология и тому подобное. Весьма вероятно, что объекты религиозного, морального и эстетического чувства также принадлежат лишь к поверхности вещей, тогда как человек склонен верить,

что по крайней мере здесь он прикасается к сердцу мира; его обманывает то, что эти вещи дают ему такое глубокое счастье и несчастье, и он обнаруживает здесь, следовательно, ту же гордость собой, как и в астрологии. Ибо последняя полагает, что звездное небо вращается вокруг судьбы человека; высокоморальный же человек предполагает, что все, что дорого его сердцу, должно быть также существом и сутью вещей.

5

Неправильное понимание сна. В эпохи грубой, первоначальной культуры человек полагал, что во сне он узнаёт *другой реальный мир*; здесь лежит начало всей метафизики. Без сна человек не имел бы никакого повода для деления мира на две половины. Деление на душу и тело также связано с самым древним пониманием сна, равно как и допущение воображаемого душевного тела, т. е. происхождение всей веры в духов и, вероятно, также веры в богов. «Мертвый продолжает жить, ибо он является во сне живому» — так умозаключали некогда, много тысячелетий подряд.

6

Научный дух могуществен в частностях, но не в целом. Отдельные, *самые мелкие* области науки трактуются чисто объективно; в отношении же общих крупных наук, рассматриваемых как целое, легко возникает вопрос — весьма необъективный вопрос: к чему они? какую пользу они приносят? В силу этого соображения полезности, они, как целое, трактуются менее безлично, чем в своих частях. Наконец, в философии, как в вершине всей пирамиды знания, произвольно поднимается вопрос о пользе познания вообще, и каждая философия бессознательно имеет намерение приписать ему *высшую* полезность. Поэтому во всех философиях есть столько высоко парящей метафизики и такая боязнь незначительных с виду решений физики: ибо значительность познания для жизни *должна* казаться большей. В этом антагонизм между отдельными научными областями и философией. Последняя, подобно искусству, хочет придать жизни и действию возможно большую глубину и значительность; в первых ищут только познания, и ничего более, — что бы из этого ни вышло. Не существовало доселе еще ни одного философа, в чьих руках философия не превращалась бы в апологию позна-